

---

---

Ирма ЗАРЕЦКАЯ

# КОГДА ХОРОШЕЕТ УРОД

## Рассказ

Урод занимал немного места: пять квадратных метров. Спасался от внешнего шума наушниками. От яркого света — темными немодными очками. Содрав со стен обои, заклеил окна. Отпиллил у скрипучей кровати ножки, подложил под матрас кирпичи. Так спокойней. И некуда падать ниже. И дробить можно бесшумно. В его одиночной камере всегда была вечная весна. Третий год читал «Подростка», отмечал обгрызенным карандашом пока еще знакомые буквы. Бережно держал в руках книгу, впитывал в себя смысл. Потом вырывал прочитанные страницы, чтобы никто не узнал, о чем он сейчас думает.

Весь день проходил в хлопотах ничем не занятого человека. С утра нужно было проснуться, почистить зубы, не выbleвав себя. Побриться, поборов искушение перерезать горло. Пожрать, никого не убив. Столкнувшись с матерью, с презрением отметить, что эта дура до сих пор называет его мальчиком, верит, что настанет день, и она сможет им гордиться. Сбиваясь, читает молитвы, когда он спит. В минуты отчаяния просит своего личного бога, чтобы тот его прибрал. А он бы и с радостью запрыгнул обратно в материнское чрево, да только все границы на замке.

Мать, постаревшая еще в прошлом веке, маскировалась оптимизмом и кремом от морщин, молодилась кукольными буклями и морковной помадой. Просила подстричься, устроиться на работу, жениться, пустить корни. Урод стриг себя сам: это был даже не ирокез, либерти или дистрой. Тифозные проплешины, длинная косая челка, выбритые виски, первая проседь. И зимой, и летом носил красную куртку с булавками на рукавах, джинсы в нашивках и заплатках, бейсболку с обрезанным верхом, кеды с надписью «Never mind». Но на него все равно обращали внимание. Кричали вслед: «Говно, иди сюда!» Урод подходил, ему давали в морду. Пытались достучаться в сердце через печень. Выливали на голову пиво, потрошили рюкзак, рвали ватманы, на которых детским корявым почерком было написано «Убивайте себя, а не животных». Искупав в луже и помяв ребра, иногда — выбив пару зубов, гопники и прочие самаритяне отпускали с миром. Сам Урод никому не мог дать сдачи. Подставлял левую. Утирался правой. Ненавидеть людей можно на расстоянии.

Когда заканчивались деньги, квас и баллончики с краской, Урод устраивался сборщиком тележек или сторожем на стройку. Ему даже что-то платили. Матери он ничего не давал. Семь лет не ел мяса, года четыре не пил водки. Называл девочек, девушек, женщин, старушек, б... — сестрами. С братьями было сложнее.

---

Ирма Зарецкая родилась в 1985 году в Донецке. По образованию журналист. Публиковалась в журналах: «Топос», «Другие люди», «Darker», «Перископ», «ЖУР-НАЛ СТО-ЛИЦА», сборнике «Литкульт». Живет в Донецке.

Во сне являлись горячечный Кропоткин, безрукий Че, лоснящийся Будда, пастушок Кришна, похожий на Христа Мэнсон, дитя пустыни Каддафи в холодильнике для овощей. Урод не верил ни в одного из них. Отнекивался от предложений выпить. Накуриться. Познать истину. Сорваться в Улан-Батор или хотя бы автостопом до Лисей бухты. Иногда мечтал поселиться в сквоте, в Долине смерти или на месте падения Тунгусского метеорита.

А потом Урода потянуло в большой город. В этом городе все сошли с ума. Это Урод еще понял на вокзале. На главной площади было полно уродов: они раздавали желто-голубые ленты, кланчили денег, выкрикивали абракадабривые речевки, держали наготове флаги, вскидывали руки от сердца к солнцу, разводили костры, кипятили чай, варили кулеш, коптили шины. Уроду было слишком шумно, жарко и тесно, но уходить он не спешил. Ему протянули бутылку с воткнутой в горлышко тряпкой.

— Спасибо, я не пью.

— Ты совсем поехавший, хлопчик? Передавай.

Урод слышал смех, улюлюканье, присказки про «в голове вава» и «я у мамы дурачок». Он давно привык к тому, что над ним смеются. По инерции передавал бутылки, а они все не кончались. В толпе стало совсем тесно. Он чувствовал чужие локти, колени, плечи, желудки, селезенки. Из-за ограды на него лаяли псы системы, но укусить не решались. Урод вдруг вспомнил, как это здорово, что тело все еще молодо и стремительно. Он больше не стоял на месте, а пританцовывал, прыгал, быстро и точно попадал в цель. Урод смотрел, как на него движется суровая машина с непримиримыми колесами. В машине сидели люди в шлемах. В их экипированных сердцах под бронжилетами не было добра. Урод уже не жмурился от яркого света, глаза его запомнили: серый, почти весенний снег, черный лед, густое красное зарево. В этом зареве нужно было идти на ощупь, натываясь на таких же лунатиков, падать навзничь, ползти, уворачиваясь от тяжелых берцев, неистовых кулаков, неумолимых дубинок. Урод захотел стать белым, маленьким, мертвым. Он даже не сразу понял, откуда стреляют. Урода подняли, поставили на ноги, хорошенько встряхнули за плечи.

— Идти можешь? — сказал Уроду человек в балаклаве.

— Да-да, — пролепетал Урод.

— Нам туда.

Это было большое красивое здание, похожее на библиотеку или исследовательский институт. Наверняка, с помпезными залами заседаний и высокими трибунами. Повсюду валялись покрышки и железные щиты, листы заборов, куски арматуры, разбитые кирпичи, доски. На входе встречали портрет лысеющего хоряка и бойкий парень в каске, вертевший в руках шипастую остроклювую палку.

— Имя, фамилия, где родился, когда крестился, женился?

Урод ответил все как есть. Никто не удивился его «везде тошно». Ему пожелали добра, впустили внутрь.

Еще маленьким Урод ездил с мамой в электричке к черту на рога — к бабушке. В середине пути людей набивался полный вагон. Вот и сейчас Урод чувствовал себя в таком общем вагоне со спертым воздухом. «И тут жарко, и тесно, но все же здесь живут люди. Люди!» — размышлял Урод. Ему выдали лыжный пуховик, строительные перчатки, два шарфа, шапку-невидимку с прорезями для глаз, шерстяные носки. Накормили постной кашей (от мясной он отказался), пирожками с капустой, напоили отдающим жженой пробкой чаем. Потом Урод спал в общей комнате, так долго, что, проснувшись, испытал удивление, потрясение и ужас, не понимая, кто все эти люди, почему они перебивают друг друга, кричат, смеются, матерятся.

— Счастье prospишь, — сказали ему. — Вставай, хлопчик, пора Ильича валить.

Сначала они приставили к монументу лестницу, обвязали глядящего вдаль Ильича тросами и веревками, стали тянуть в разные стороны. Урод думал, кто сильнее — памятник или люди. Кому положено стоять, а кому лежать на земле. Он слышал отовсюду гул, топот, свист. Это славили революцию. «Мы рушим старое, чтобы построить новое. Настоящее. Справедливое. Вечное», — успокоил себя Урод и поднажал сильнее. Идол упал, разбив гранитную голову. Красное грузное тулово тот час обступили с кувалдами. И молодые, и старые пели невеселые, но вселявшие надежду песни. Отламывали куски холодного камня. Танцевали в черкесском кругу.

— Зараз, Наташа, прииду, я фоткаю.

Урода отпихнули, уронили в асфальтовое крошево, не замечая его живых рук и ног, пошли вперед. Подвывая, Урод, отполз назад. Сидя на бордюре, дул себе в ладони. «Ничего, ничего. Они ведь не специально. Я сам. Сам упал». Уроду сказали, до свадьбы заживет, не уговорив выпить водки, снова накормили пирожками и кашей.

Урод спал, так и не примирившись с телесной болью, стонал во сне, провалившись в тяжкий кошмар, словно в глухой колодезь, звал пойти с ним Людочку, бабушку Сашу, отца, Марину Андреевну. Была здесь и она. В той самой своей дачной тельняшке, в шортах изрезанных. Босая. С волосами красными. Или то кровь на них? По губам понял, что говорит: «Это ты нас убил!»

Проснулся, будто с похмелья, с иссохшим ртом, пустыми глазами и зашедшимся в тоскливом плаче сердце. «Отболело же. Нечему там больше болеть. И она ведь давно вышла замуж, родила, может, уже и второго. И помнись меня не помнит. Моя милая девочка. Мой дикий степной волчонок. Райская моя птичка. С... моя сладкая. Где ты теперь?» Урод вспомнил, что она любила соленое после сладкого и никогда наоборот. Нагретое до состояния чая темное пиво и ледяное, ломающее зубы вино. Писала прескверные стихи, рифмуя звуки и стуки, любовь и кровь. Резала вены обратной стороной ножа и всерьез верила в то, что жизнь после смерти существует. И в теле ее, вытянутом против его на добрых пять сантиметров, уживались четыре разные Маши, но ни одна из этих Маш не отвечала ему взаимностью. Когда она была рядом, гитара не строила, а он сидел пень пнем, заплывал едким, как фруктовое желе, румянцем, путался в словах, скрипучих, как колесо песни. Отвечал невпопад. Не в силах сдержать тряску левой ноги, шелкал выдающимися зубами, до крови прокусывал обиженную губу.

Вот и сейчас Урода начинал душить воздушный змей. Врачи называют это паническими атаками.

«Он не то что глупый или некрасивый. А дохленький какой-то, будто придушенный, — говорила она подругам. — Я не могу такого полюбить».

Выбежав на улицу неумытым и нечесаным, он пошел искать квас. Что плохого в том, что несчастному человеку хочется зимой студеного кваса.

Урод пил жадно, ржавое, кислое, стекая по бороде, капало за ворот свитера. Неопрятная подавальщица глядела на него, как Ленин на буржуазию, и, кажется, цокала.

— Молодой человек, — сказала громко и внушительно. — Пейте аккуратней, а то полы мыть заставлю.

— Тобой и помоем, шалава, — огрызнулся кто-то из ханыг.

Урод не слышал, как неопрятная подавальщица грозила милицией. Потом пошла ва-банк на революцию. Но таки накаркала: совсем уж карнавальные менты оказались легки на помине.

— Бухаете тут, а ваш побратим повесился. Прямо на елке.

Воздушный змей ослабил хватку, бражисто рыкнул на ментов, заблевал ботинки. Наклонил Урода к полу, заставил истово креститься, повторять: «Это не я».

— Мать, дай парню водички, — сказал один из ментов человеческим голосом.

Урод не мог понять, о каком дяде Семене говорят все вокруг. Что это был за человек, чем он жил. Почему не сел на ночной поезд, не приехал в свой город, не упился тещиной сивухой, не угостил сопливых своих детей подзатыльниками, а склочную жену зуботычиной. Урод долго бродил по продымленным улицам и копченым закоулкам, поминая с каждым встречным забуддыгой незнакомого и не опознанного им дядю Семена, плакал над его свернутой шеей, жалея ее, бедную, хилую, на беду — пружинистую; треснутый, изношенный работой на шахте позвоночник. Проклиная дядю Семена, которого уже здесь нет, а он, седовисочный молодой дурачок, остался — над собой куражится. Урод говорил много и горячо (благо никто не слушал) о злом демиурге-боге, Третьей мировой, казнях над мясоедами, создании собственной секты и о том, что мечтает колоть беременных женщин тростями-зонтиками. Урода услышали, взяли за ухо, поднесли к искривленным губам, заорали в пунцовое детское хрящевое, что он урод, слизь, угорь кровавый, дрянь, тля.

— Совершенно с вами согласна, — кланялась его голова. — Заставьте меня замолчать, — усмехался растянутый рот. — Я все равно не исправлюсь, — вторило сердце.

— Пойдем уже, — успокоились все, позабыв о своей злости.

Урода довели до дома, усадили на порожек:

— Не май месяц, пацан. Тут не спи.

\* \* \*

Он никогда не любил моря, не потому что стеснялся раздеться на людях, боялся воды или не умел плавать. Наверное, потому что у него никогда не было нормально-го детства. Такого, какое бывает на советских открытках. А от этого шурх-шурх волн и вовсе тошнило.

На море они приехали в не сезон. Точнее, до сезона оставалось каких-то две недели. Город, воспетый джазистами и криминалом, был для него таким же шумным, грязным, кошачьим и безликим, как и десяток других увиденных мельком приморских городов. Все утро не покидало чувство мандража: страха не было, плохих предчувствий и подавно. Что бы ни случилось, он успеет уйти первым. Убежать. Скрыться. Залечь на дно. Притвориться уродом. Гуляя по площади, он видел, что в небе, курлыча, летели журавли, суетные люди раздавали серые листовки и черно-оранжевые ленты, упитанные глазастые женщины фотографировались у баррикад. Люди поздравляли друг друга с победой, новой весной и футбольным матчем — все были пьяны тем особенно глупым человеческим счастьем, когда каждый прохожий становится другом и братом. «Мясо, мясо, мясо. Чертово! Проклятое мясо!» — заори он в голос, все равно никто не услышал бы. «Не сегодня», — щелкнуло эсэмэс. Он развернулся в другую сторону и пошел в кабак.

Забор был хлипким, до стены можно было доплюнуть, в окнах блажились людишки. Он не запоминал лозунги, не кривился от обильных матов, тонкое ухо его слышало похожий на музыку Шнитке писк — так пищат крысы. Внезапно в одном из окон мелькнуло ее лицо — злое, заплаканное. А затем все исчезло в дыме.

Грязное людское море волновалось, выплескивалось вперед, лизало фасад здания, бушевало, тревожилось, рокотало, окатывало так, что все вокруг пылало. Затравленные людишки выпадали из окон, как снулые рыбы, разбивали свои головы, лежаливерху беззащитным брюхом, будто, приглашая: «Ну, давай!», кто-то отползал и попадал в коридор из палок, кто-то становился живой мишенью, кто-то молил о пощаде. Были и те, кто, поднявшись во весь рост, говорили четко и ясно: «Да пошел ты!» Он так

и не научился не жалеть чужое тело, смотрел ошалевшими глазами, хлебал этот горький ночной воздух, в котором кричало, горело, стенало живое, несчастное.

Через несколько дней в ленте новостей он увидит ее фото. Скупой некролог, четные розы, высеченные огнем на черном мраморе: «Не забудем. Не простим», «Помни». Первой реакцией был смех. Не нервный, а жеребячий, бодрый и залихватский. «Да просто похожа. Не она это, не она. И тогда показалось. Просто показалось». Когда смех повис в воздухе ртутной кляксой, Урод зажмурился от собственного бессилия, совершенной невозможности заорать и заплакать.

«В кого ты такой? Каменный! Каменный!»

Урод приложился щекой к монитору, сидел так час или два, а может, и всю ночь. Нужно было немного сойти с ума, чтобы выпустить из себя это. Смириться. Как-то дальше жить. Вспомнилось, как она красиво и пафосно говорила о том, что не хочет кормить червей, лежать на унылом кладбище, прорастать маргаритками. Из малодушия Урод не пошел на молебен.

\* \* \*

Одни говорили, что на квартирник его привела Ленка-анархия. Другие, что он и не местный даже. Третьи, что был он совсем зеленый, будто только что от армии откосил. Четвертые называли старичком из олдовых. Что запомнилось всем: красный двубортный пиджак на нем, длинный, как пальто у денди, и шарф красивый на шее болтался.

— Пойду я, дела у меня в конце коридора.

Никто не удивился, почему его так долго нет. «Плохо, может, человеку. Или желудок слабый». Вышли покурить, а он висит.